

EUROPA ORIENTALIS 31 (2012)

“ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО” Н. В. ГОГОЛЯ

Ольга Ревзина

Детальному анализу “Записок сумасшедшего” посвящена недавняя статья Майи Кёненён.¹ Автор рассматривает гоголевскую повесть в контексте западноевропейского сентиментализма, романтизма и далее русского ‘вертеризма’, то есть отечественных произведений, в той или иной степени интертекстуально связанных со “Страданиями юного Вертера” Гете (1774).

М. Кёненён называет следующие особенности дневника как литературного жанра: а) “для художественного дневника как литературного жанра характерно повествование от первого лица как единственного нарратора”,² б) повествователь представляет одновременно “субъект и объект” нарратива; в) в дневнике “акцентируется время написания”, текст состоит из “фрагментарных, как правило, датированных надписей”,³ г) в дневнике “самому акту повествования уделяется особое внимание с помощью тематизации процесса писания”⁴.

На основе сказанного выдвигается положение о дневниковой норме, относящееся “к пишущему субъекту, композиции, стилю и языку дневника”.⁵ Существование нормы предполагает и возможность её нарушения. Применительно к “Запискам сумасшедшего” автор рассматривает далее следующие вопросы: “качества пишущего субъекта, письмо и язык как темы и их отношение к личности пишущего субъекта, а также соотношение между риторикой безумия и дневниковой формой”⁶.

Относительно “пишущего субъекта” М. Кёненён придерживается точки зрения, состоящей в том, что Попричин – слишком незначитель-

¹ Кёненён М. “Записки сумасшедшего” Н.В. Гоголя и европейский литературный дневник // Европа в России. Сб. статей. М., 2010. С. 142-161.

² Там же. С. 144.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 145.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

ная личность, ему не хватает “субъективной саморефлексии”, самопознания; мотивировка его дневника – это возмущение странным инцидентом (разговор собачек – *O.P.*) и страх, пробуждаемый этим событием”.⁷ Поприщин, по мнению автора, не отличает человека от его чина; сливаются его галлюцинаторный мир и “внекстовая действительность” (Санкт-Петербург) таким образом, что для повествователя-персонажа оба мира “представляются в одинаковой мере реальными”, и граница между ними (в отличие от читателя “Записок”) “начинает исчезать”.⁸

Обращаясь к “языку и голосу действующего лица”, М. Кёненён связывает высокую оценку письменной речи, присущую Поприщину, с тем, что “письменные документы сами по себе представляют власть”. Это весьма отличается от ‘нормы’, в которой “центральная роль слова или языка в конституции человеческой личности” приписывается романтическому мышлению. Поприщину, продолжает М. Кёненён, с трудом дается устное непосредственное общение, здесь язык “постоянно изменяет ему”. Параллель со “Страданиями юного Вертера” в данном случае усматривается в том, что во время издания гётеевского эпистолярного романа “отказ от устной коммуникации” (то есть, собственно говоря, аутизм – *O.P.*) толковался “как знак психического расстройства”. Вертер и Поприщин “сходны между собой в неспособности писать правильно, и начальники обоих чиновников упрекают их в небрежности”.⁹ Как полагает М. Кёненён, “Поприщин стремится показать свое благородное происхождение через письменную речь, которая для него представляет собой социальную позу”.¹⁰ Поприщин “не может следовать нормам литературного языка” (в отличие от Вертера), его язык “состоит из разных стилей, подражая манерам то устной речи, то письменного языка и варьируясь от литературной стилистики сентиментализма до официального жаргона”.¹¹ Ссылаясь на известную статью Б. Эйхенбаума о “Шинели” Н. В. Гоголя, М. Кёненён говорит о сказе “как знаке поприщинского (и гоголевского) стиля”, и ставит в связи с рассматрением языка “Записок” чрезвычайно важный вопрос: “Что может добавить к портрету сумасшедшего повествователя такое колебание между письменным языком и устной речью, между пишущим и говорящим субъектами?”¹²

⁷ Там же. С. 146.

⁸ Там же. С. 148.

⁹ Там же. С. 149.

¹⁰ Там же. С. 150.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

Отдельную главку М. Кёненён посвящает “удвоению голоса повествователя”. Главным является соотношение собачьих писем, являющихся на самом деле “продуктами собственного неуравновешенного ума” Поприщина, и авторского повествования. Происходит “первое раздвоение личности”, и “через переписку Поприщину предоставляется возможность посмотреть на себя с точки зрения “другого”, вследствие чего происходит второе раздвоение личности на тематическом и сюжетном уровнях”.¹³ В связи с письмами Меджи, М. Кёненён отмечает, что в отличие от Вертера, прослеживающего развитие своего сознания в дневнике, “Поприщин, наоборот, не принимает правды, пока он не видит её в письменном документе. Его собственная галлюцинация показывает ему путь к реальности”.¹⁴ М. Кёненён настаивает на том, что “высокая ценность письменного языка в глазах Поприщина вызвана престижем, связанным с ним, а не с превосходством выразительной силы письменного языка”. Она пишет о высоком пафосе, характерном для героя в состоянии крайнего конфликта. Этот пафос проявляется у Вертера в тоске по дому, в последних письмах – в риторическом обращении к Богу; у Поприщина “типично романтическая мифема путешествия” преломляется в “завершающем вскрике” Поприщина, в пафосе риторического обращения.

Статья М. Кёненён, как это уже видно из изложения её кардинальных положений, отличается глубиной анализа и проницательными меткими замечаниями. Следует сделать уточнение относительно жанра гоголевского произведения. М. Кёненён однозначно относит его к жанру дневника. Безусловно, дневник и записки имеют общие черты, что удостоверяется толкованием слова *записки* в толковом словаре: “Чьи-либо наблюдения, замечания, воспоминания и т. п., постепенно заносимые на бумагу <...> Литературное произведение в форме дневника, воспоминаний”.¹⁵ Но эти жанры имеют разную генетику. По мысли М. Ю. Михеева, дневник выводится из жанра частного письма,¹⁶ в то время как в записках сохраняется культурно-историческая память о деловом документе.¹⁷ Данный факт представляется немаловажным: для Поприщина, как чиновника, естественно глубоко личные переживания представлять для себя не в форме дневника, но в форме записок.

¹³ Там же. С. 153.

¹⁴ Там же. С. 151.

¹⁵ Словарь русского языка в четырех томах. Том 1. С. 556.

¹⁶ См. Михеев М. Ю. Дневник как эго-текст (Россия, XIX-XX). М., 2007.

¹⁷ О словах ‘запись’, ‘записка’, ‘записки’, ‘записной’ в историческом контексте см.: Ефимова С. Н. Записная книжка писателя: стенограмма жизни. М., 2012. Гл. 1.

О парадоксе названия¹⁸

С лингвистической точки зрения название гоголевского текста представляет собой субстантивное словосочетание, в котором в качестве управляющего слова выступает существительное *записки*, а в качестве управляемого – существительное *сумасшедший*. Оно мотивировано прилагательным *сумасшедший*, образованным путем сращения причастия и существительного в косвенном падеже (*сошедший с ума*).¹⁹ Будучи субстантивированным, это прилагательное устойчиво функционировало в русском дискурсе в двух значениях: “Страдающий душевным, психическим расстройством, умалишенный” <...> *Разг. Утративший способность здраво рассуждать, поступающий необдуманно, безрассудно*".²⁰

В субстантивном словосочетании данного типа управляемое слово в родительном падеже имеет определительно-субъектное значение, то есть обозначает того, “кто действует, кто обладает свойством, предметом (в широком смысле слова, кто (что) имеет отношение к кому-чему-л., включает кого-что-л. в свой состав, от кого (чего) что-л. исходит, кем (чем) производится”).²¹ С формальной точки зрения сочетание является абсолютно нормативным и может быть истолковано в рамках любой из приведенных конкретизаций определительно-субъектного значения. Сложность в понимании возникает из-за двойного значения существительного *записки*, но в первую очередь – из-за специфической семантики существительного *сумасшедший*.

В качестве субстантивированного прилагательного *сумасшедший* – это название лица. Анализируя имена лиц с точки зрения их способности выполнять идентифицирующую или характеризующую роль, Н. Д. Арутюнова отмечает, что имена лиц с предикатным значением, прежде всего, качественные и оценочные имена, “используются не столько для идентификации предмета речи (не для того, чтобы назвать), сколько для того, чтобы дать о референте некоторую информацию или выра-

¹⁸ История названия гоголевской повести тщательно исследована. Варианты названий (“Записки сумасшедшего музыканта”, “Ключи из записок сумасшедшего”) восходят к произведениям Э.Т.А. Гофмана – так же, как и замысел повести. См. Комментарии к “Ключам из записок сумасшедшего” в: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. 3. Выражаю благодарность С.А. Бочарову за предоставленные мне комментарии к “Запискам сумасшедшего” в т. 6 того же издания (в печати).

¹⁹ Русская грамматика. Том I. М., 1980, С. 327. Также образовано и существительное *умалишенный (лишенный ума)*.

²⁰ Словарь русского языка в четырех томах. Том IV. С. 305.

²¹ Русская грамматика. М., 1980. Том II. С. 428.

зить к нему свое отношение, для того, чтобы обозначить или обозвать”.²² Иначе говоря, по данной номинации нельзя установить её референта. Е. В. Падучева, рассматривая денотативные статусы именных групп, пишет о выделенном в теории референции атрибутивном употреблении:

Атрибутивным употреблением дескрипции называется такое, при котором говорящий использует дескрипцию для утверждения, касающегося того лица или предмета, которое удовлетворяет данной дескрипции, – кто бы это ни был, то есть не имея в виду никакого конкретного объекта. Например, высказывание *Убийца Смита – сумасшедший* может быть сделано в ситуации, когда убийца вообще неизвестен говорящему...²³

Таким образом, мы могли бы преобразовать название гоголевского текста в высказывание типа *Тот, кто написал эти записки – сумасшедший, кто бы он ни был на самом деле*. Теперь требуется установить конкретного референта. Кто же он?

Вопрос о референте может показаться, что называется, от лукавого. В самом деле, мы отлично знаем, кто является сумасшедшим в мире гоголевского текста – это чиновник Попричин. И если бы Н. В. Гоголь назвал свою повесть “Записки одного сумасшедшего”, то кажущаяся неточность названия хотя бы частично устранилась: референтная именная группа имела бы значение слабой определенности, “т. е. определенность объекта для говорящего, но не для слушающего”.²⁴ Н. В. Гоголь, однако, назвал свою повесть иначе, что кажется абсолютно неслучайным. На данном этапе приходится констатировать, что даже выбор конкретного референта не избавляет от целого ряда других вопросов. Выше говорилось о двух значениях слова *сумасшедший*: в одном случае это медицинский диагноз, во втором – оценочная номинация. В качестве оценочно-характеризующего имени *сумасшедший* во втором значении может быть употреблен субъектом речи применительно к самому себе: *Что я наделала? Я дура и сумасшедшая*. Но гораздо чаще это имя присваивается со стороны – как в первом, так и во втором значении (вспомним Александра Андреевича Чайского в “Горе от ума”: *Безумным вы меня прославили всем хором*). И уж совсем невозможно, чтобы человек, больной психической болезнью, сказал о себе: *Я – сумасшедший*, ибо, произнеся эту фразу, этот человек как раз демонстрирует свое психическое здоровье. Как известно, в романе Джозефа Хеллера

²² Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. С. 82.

²³ Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. С. 89.

²⁴ Там же. С. 87.

“Уловка-22” (1961 г.) именно этот парадокс становится содержанием знаменитой уловки – правительственного постановления, в соответствии с которым “всякий, кто заявляет о себе, что он сумасшедший и пытается тем самым освободиться от воинской обязанности на самом деле сумасшедшим не является, так как такое заявление явно говорит о здравомыслии”.

Возникает следующая коллизия: “Записки” написаны от первого лица; это первое лицо – Поприщин, то есть и записки, и их название при надлежат Поприщину; следовательно, сам Поприщин называет себя сумасшедшим; следовательно, по разобранному выше парадоксу, Поприщин не сумасшедший. Тогда либо мы должны усомниться в том, что нам известен конкретный референт, либо предположить, что Поприщин, скажем, написал свои записки, а название этим запискам, зная их автора, дал кто-то другой. Интересно, что в самих “Записках”, сам Поприщин дважды обращается к оценке своего психического здоровья.

Вот эти два случая:

(1) Девчонка, впавшая в Поприщина, в дом Зверкова, наблюдает, как Поприщин вытаскивает из лукошка собачки Фидель “небольшую связку маленьких бумажек” (как думает Поприщин, писем собачонки Меджи) и убегает с этими “письмами”. Дальше в тексте читаем: *Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно.*²⁵ Поприщин использует оценочную номинацию в полном соответствии с её вторым, ситуативно обусловленным значением (реакция на неадекватное поведение). Таким образом, он и осознает эту неадекватность и признает правомочность её оценки, выраженной в слове *сумасшедший*, то есть проявляет себя как абсолютно здравомыслящий человек.

(2) Поприщин делает открытие: *В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом!* (207-208).

Отвлечемся на время от содержательной стороны и посмотрим на формальный аспект. Поприщин обретает новое знание, в свете которого прежнее его видение представляется ему неадекватным и лишенным смысла. В таких случаях всякому человеку абсолютно естественно сказать о себе, что он был не в полном рассудке.

²⁵ Гоголь Н. В. Записки сумасшедшего // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 тт. М., Изд. Академии Наук СССР, 1938. Т. 3: Повести. С. 201. Далее страницы из этого издания даются в тексте статьи в скобках.

В самом конце повести есть еще одно упоминание Поприщина о его состоянии: *Матушка, спаси своего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, как мучат они его! <...> Матушка! Пожалей о своем больном дитяtkе!* (214). В свете перенесенных Поприщины мучений определение больная головушка естественно отнести в первую очередь к физическому состоянию (хотя в большой головушке есть след фразеологизма больной на голову). Поприщин, однако, ни разу не произносит сакральную диагностическую фразу **Я сумасшедший*, что и доказывает его нездоровье. Таким образом, выявленный в названии парадокс, варьируясь, продолжает свое существование в тексте.

Это очень запутанная коллизия. Но она абсолютно неслучайна. Она прямым образом связана с замыслом Гоголя. Для того послания миру, которое содержится в повести, была найдена едва ли не единственная возможная для этого послания форма воплощения. Прежде чем продолжить разговор о гоголевской повести, мы хотели бы сделать небольшой экскурс в сторону и обратиться к тексту, близкому к “Запискам сумасшедшего” хотя бы по названию. Это – “Апология сумасшедшего” П. Я. Чаадаева.

Отступление в сторону Чаадаева

Не только название сближает два текста. “Апология сумасшедшего” была написана в 1837 году, то есть через год после публикации “Записок сумасшедшего” Н. В. Гоголя. Поприщину, по его собственному признанию, 42 года – столько же было и П. Я. Чаадаеву (родился в 1794 году) к моменту написания его “Апологии”. “Умалишенным” посчитал Чаадаева Николай Первый, а затем объявило правительство – надзор полицейского лекаря был снят в том же 1837 году. На этом сходство как будто бы заканчивается – случай Чаадаева скорее следовало бы со-поставлять со случаем Чацкого, когда незаурядную личность объявляют сумасшедшим. Можно, конечно, рассуждать о физическом состоянии П. Я. Чаадаева, имея в виду свидетельство о его плохом здоровье и долгом лечении во время заграничного путешествия в 1822-1826 годах. На этом фоне можно обратить внимание и на двусмысленное описание встречи с Чаадаевым А. С. Грибоедова, которое находим в “Смерти Вазир-Мухтара” Ю. Н. Тынянова: “Тотчас же он [Чаадаев – *O.P.*] сделал неуловимое сумасшедшее движение ускользнуть в соседнюю комнату. Бледноголубые белесые глаза прятались от Грибоедова”.²⁶ Поведение Чаадаева в романе выглядит неадекватным и балансирующим от без-

²⁶ Тынянов Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара. М., 1938. С. 26.

умия к пророчеству (“Будьте уверены, что в Париже рука уже вынула камень из мостовой”).²⁷ Но нас интересует в первую очередь название чаадаевского текста с точки зрения той коллизии, которая возникает в связи с названием гоголевского текста. Здесь также номинация *сумасшедший* не указывает ни на какое конкретное лицо, но референт при этом устанавливается совершенно однозначно. В самом тексте “Апологии сумасшедшего” имеется прямое указание на то, что так был назван автор письма: “Не естественно ли, скажите, чтобы я постарался уяснить себе по мере сил, в каком отношении к себе подобным, своим согражданам и своему богу стоит человек, пораженный безумием по приговору верховного судии страны?”²⁸ Таким образом, в отличие от “Записок”, в “Апологии” номинация *сумасшедший* никак не может быть понята как самоназвание.

“Апология” всем своим текстом утверждает: тот, кого вы называете сумасшедшим, – великий мыслитель и философ. От сумасшествия в нем только одно – отклонение от общепринятой нормы. Но дальше возникает вопрос о самой норме, о её обратимости. Как замечает, анализируя концепт нормы, Н. Д. Арутюнова, судить о том, что соответствует замыслу Природы, а что её искажает, непросто...”²⁹

Попричин – персонаж и рассказчик

“Апология сумасшедшего” – это эпистолярный философско-публицистический текст, а “Записки сумасшедшего” – текст художественный. Мы потому и могли использовать внеtekстовые знания о Чаадаеве, что Чаадаев в жизни и Чаадаев как автор письма – это одно и то же лицо. Совершенно иная ситуация с “Записками сумасшедшего”. Здесь, как и во всяком художественном тексте, есть внешняя коммуникативная рамка – Н. В. Гоголь и его читатели, не входящие в мир текста, и внутренняя коммуникативная рамка – отправитель и адресат, включенные в художественный универсум. Соответственно, Н. В. Гоголь выступает как писатель, создатель художественного произведения в литературном жанре записок, но ‘я’ в тексте – это отнюдь не Н. В. Гоголь. Вся эта проблематика давно и хорошо известна, хотя и нельзя сказать, что в решении этих проблем достигнута полная ясность. В “Записках” внутренний отправитель – рассказчик, ведущий свое повествование (свои записи) от первого лица. Форма *Ich-Erzählung* является гораздо более сложной

²⁷ Там же. С. 28.

²⁸ Чадаев П. Я. Апология сумасшедшего. М., 2004. С.188.

²⁹ Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 74.

композиционно-речевой структурой, чем *Er-Erzählung* (“Повествование от первого лица не только не проясняет облика повествователя, но, наоборот, скрывает его”).³⁰

М. М. Бахтин определял повествование от 1-го лица как “однонаправленное двуголосое слово”, когда “чужая словесная манера используется автором как точка зрения, как позиция, необходимая ему для ведения рассказа”.³¹ Рассматривая соотношение разных ликов *Я* в первоначальном повествовании, Ц. Тодоров делает следующее обобщение:

соединяя в себе одновременно героя и рассказчика, персонаж, от имени которого рассказывается книга, занимает совершенно особую позицию – он отличается как от того персонажа, которым бы он был, если бы назывался ‘он’, так и от рассказчика, то есть потенциального ‘я’ повествователя.³²

Итак, Поприщин существует в тексте “Записок” как персонаж и как рассказчик. Выше, говоря о референте этого обозначения, которое вынесено в название гоголевского текста, мы говорили, что конкретным референтом является Поприщин. Теперь оправданно поставить вопрос, идет ли речь о Поприщине – персонаже или о Поприщине-рассказчике, или, наконец, о том и другом вместе. Неслучайно ведь Ц. Тодоров говорит о том, что в случае персонажа-рассказчика возникает некое третье *Я*: “...присваивая себе часть свойств того и другого, но не поглощая их обоих целиком, он лишь заслоняет их собой”.³³

Поприщин как персонаж

Итак, что же мы узнаем о Поприщине как персонаже в изображении персонажа-рассказчика? Рассказывая о себе, Поприщин сообщает сведения разного рода. Дворянин, титулярный советник, не имеет средств к существованию помимо жалованья, влюблён в дочку директора департамента, в котором служит. Не имеет университетского образования, не знает иностранных языков, однако грамотен, любит ходить в театр, имеет некоторые знания о литературе, истории и культуре, читает газеты (во всяком случае “Пчелку”), интересуется политикой, следит за европейской политической жизнью. Поприщину свойственна напряженная ментальная деятельность, сопровождаемая постоянным самоконтролем:

³⁰ Тодоров Ц. Поэтика. Пер. с франц. А. К. Жолковского // Структурализм: за и против. М., 1975. С. 77.

³¹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 254.

³² Тодоров Ц. Поэтика. С. 77.

³³ Там же. С. 76.

Когда я *думал* это, увидел подъезжавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал её: это была карета нашего директора. ‘Но ему незачем в магазин, – я *подумал*, – верно, это его дочка’ (194).

Я глядел на всю эту канцелярскую сволочь и *думал*: ‘Что, если бы вы знали, кто перед Вами сидит…’ (208).

Размышления Поприщина по разным поводам демонстрируют его стремление перейти от удивления к пониманию, найти объяснение, выстроив логическую аргументацию, введя (хотя и произвольные) причинно-следственные отношения, используя перенос по аналогии.

Признаюсь, я очень удивился, услышав её (собачку – *O.P.*) говорящую по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда уже перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров (195).

Интересно, что сдвиги в сознании Поприщина, знаменующие переход к иному видению мира, описываются им так, как если бы речь шла о научных открытиях, которые сами по себе есть вознаграждение:

Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем за все это меня вознаградило нынешнее *открытие*: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями (213).

Признаюсь, меня вдруг как будто *молнией осветило* (ср. молнией мелькнула мысль) (207).

Я *открыл*, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства (211–212).

В последнем примере показательна ссылка на *невежество*, т. е. заблуждение, происходящее от недостаточного знания. В этом ключе может рассматриваться и такой прием аргументации, как ссылка на авторитеты. Так, совершая “научное предвидение” (*событие, имеющее быть завтра, земля сядет на луну что*, кстати сказать, может быть истолковано как своего рода “земное затмение”), Поприщин приводит мнение Веллингтона (*Об этом и знаменитый химик Веллингтон пишет* – правда, герцог Артур Веллингтон (1769–1852) был не химиком, а фельдмаршалом).

Поприщину свойственно вынесение оценок, и на первом месте стоит оценка умственных способностей: *Наш директор, должно быть, очень умный человек; Эка глупый народ французы!; У! должен быть голова!; Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; Девчонка была глупа! Я сейчас узнал, что глупа; Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны; Собаки народ умный, они знают все политические отношения; И как можно наполнять письма эдакими глупостями; Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула*

руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видела испанского короля; Какой он директор? Он пробка, а не директор (ср. глуп, как пробка); Я теперь только постигнул, что такое женщина; Физики пишут глупости...; Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает...; Делает её (луну – О.Р.) хромой бочар, и видно, что дурак; Бритые гранды <...> были народ очень умный <...> и многие полезли на стену, с тем, чтобы достать луну; Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный.

Говоря о сфере эмоций и чувств, следует сразу же отметить “любовный” сюжет, связывающий Поприщина с дочкой директора департамента Софи. Поприщин не называет свое чувство прямо, он прибегает к косвенным обозначениям, передавая свое восприятие генеральской дочки и то воздействие, которое она на него оказывает:

Господи боже мой! Пропал я, пропал совсем (194).

Святители, как она была одета! Платье на ней было белое, как лебедь; фу, какое пышное! А как глянула: солнце, ей-богу солнце! <...> Ай, ай, ай! какой голос! Канарейка, право канарейка! (196).

Отметим, кстати, что характер используемых Поприщиным сравнений указывает на его принадлежность исконной культуре этноса, ср. царевна-лебедь, а также использование для обозначения признака объекта существительное, называющее носителя этого признака, ср. платье было на ней белое, как перо лебедя – белое, как лебедь).³⁴

В других случаях Поприщин прибегает к повторяющемуся обороту, в котором междометие как непосредственно выраждающее эмоцию (но не называющее её) сопрягается с призывом к самому себе прийти в равновесие и – замкнуть уста: *Если бы и дочка..., эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание!; ай! ай! ай! ничего... молчание; Там будет что-нибудь и о той, которая... ничего, молчание! Ай, ай!... ничего, ничего. Молчание! Эх, канальство! Ничего, ничего... Любовное чувство актуализирует когнитивную способность воображения, в котором рождается мир реализованных желаний Поприщина. В этом воображаемом мире любовные желания переплетаются с социальными притязаниями. С любовным сюжетом связаны и другие эмоции Поприщина – восхищение, надежда, досада, негодование. О его сосредоточенности на Софи и захватченности любовным чувством говорит тот факт, что это чувство определяет его поступки и главное именно известие о предстоящей*

³⁴ О первоначальном неразличении существительных и прилагательных в связи с атрибутивным приложением писал А. А. Потебня (см.: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Том 1-2. М., 1958).

свадьбе приводит к необратимому сдвигу в его сознании. Отрицательные эмоции становятся основанием оценки, выражаемой в этом случае резко сниженной, подчас бранной лексикой: *Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде, – не выдаст, седой черт; рожа такая, что плюнуть хочется; Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней, и хоть бы головою потрудился кивнуть; Да я плюю на него; Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму...; А вот из нашей братии чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык!*

Интересно также то, что, в отличие от ментальных характеристик, эмоциональные состояния и оценки Поприщина почти сплошь выражены идиомами.

В ментальных и эмоциональных проявлениях Поприщина до и после “великого перелома” в сознании можно заметить определенные изменения. Прежде всего, они касаются содержания мыслительных процессов и эмоциональных переживаний. Превращение титуллярного советника в испанского короля сопровождается постепенным отходом от тем, связанных со службой в департаменте, с обращением к “делам государственным” и, если так можно выразиться, космическим. Постигнув сущность женщины, Попричин находит другой объект поклонения: *Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны, и дальше луна называется нежным шаром.* Нет необходимости говорить о мифологической связи женщины и луны, и здесь хочется обратить внимание на другой аспект: тяготение Поприщина к дочери директора департамента – это, собственно говоря, физическое тяготение (*Посмотреть бы на ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек*) в то время как по отношению к луне Попричин проявляет как раз те чувства, которые естественно проявлять по отношению к любимой: *сердечное беспокойство, ощущение хрупкости и нежности луны.* В целом можно заключить, опираясь на динамику ментальных и эмоциональных проявлений Поприщина, что “великий перелом” в его сознании сопровождается своего рода очищением и моральным возвышением. Это находит проявление и в языке повести.

Попричин как рассказчик: разговоры

Говоря о Поприщине как рассказчике, следует остановиться вначале на других голосах. И первый из этих голосов – голос самого Поприщина. Записки, как вид этого – текста, представляют собой автокоммуникацию, то есть пишутся для самого себя. В этот письменный текст вкраплены

реплики, представленные в форме внутреннего монолога (*Пойду-ка я, — сказал я сам себе, — за этой собачонкой и узнаю, что она и что такое думает*), прямая речь Поприщина, а также сообщения о сказанном им. (Здесь представлены, иначе говоря, различные разновидности миметического модуса, “изображение речи”, по Ц. Тодорову).³⁵

Прямая речь Поприщина интересна тем, что она раскрывает нам то, о чем он сам не говорит — степень его социализации, его контактность. Здесь наблюдается огромный контраст между письменными и устными проявлениями речевой способности Поприщина. Поприщин замкнут, его контакты с внешним миром ограничены. В “Записках” представлены односторонние реплики и обмен репликами. Поприщин пытается говорить с собачкой Меджи (*Послушай, Меджи, вот мы теперь одни...*), но не получает ответа. Его общение с директором департамента сводится к стереотипной модели запрос — ответ: *“Каково на дворе?”* — *“Сыро, ваше превосходительство”*. Обычно же Поприщин имеет ответ, и даже очень развернутый, но он его не произносит, а приводит в письменном виде, как внутренний монолог. В общем корпусе автоцитат в записках Поприщина особенную значимость имеет последняя из произнесенных им реплик, обращенная к тем, кого Поприщин считает своими поданными и грандами, а читатели — скорбными главой: *Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на неё*. Эта реплика резко отличается от всех остальных, принадлежащих Поприщину, и по форме, и по содержанию. Это не приказ, а призыв к совместному и притом представляющемуся благородным и достойным действию. Глагольная форма *спасем* является инклузивной, то есть объединяет от правителя и адресатов. И призыв Поприщина достигает цели, ибо *многие полезли на стену, с тем, чтобы достать луну* (здесь замечательный прием овеществления метафоры *лезть на стенку*).

Впервые Поприщин оказывается открытым людям, он проходит успешную социализацию, хотя и в достаточно специфическом социуме. И косвенно это также указывает на моральное возвышение Поприщина. Он не думает более о личной судьбе и карьере в рамках системы ценностей того социального круга, к которому он принадлежал: выгодно жениться, обрести материальное благополучие, “жить припеваючи”. Включение “других голосов” является исключительно важным тактическим приемом для двойственного понимания текста. Все, что написано Поприщины, опирается на модус серьезности и искренности, повествование моделируется его точкой зрения. В других речевых партиях, пусть и скучных, высказывается совершенно иная точка зрения,

³⁵ Тодоров Ц. Поэтика. С. 64.

нам открывается взгляд на Поприщина со стороны. Мы видим в Поприщине то, чего он сам в себе видеть не может или видит иначе. Напомню еще раз мысль Ц. Тодорова о перволичной форме повествования: “*Я* не сводит два лица к одному, а напротив, делает из двух лиц три”.³⁶ Вот это третье лицо, третье *Я*, выстраивает текст композиционно таким образом, что Поприщин как будто отражается в разных зеркалах, при том что главным зеркалом является его собственное письмо.

Этот прием используется уже в самом начале повести – мы слышим голос “начальника отделения”:

Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленьку букву, не выставишь ни числа, ни номера (193).

Так выглядит Поприщин со стороны, и здесь уже названы черты поведения, которые при первом прочтении трактуются как халатное отношение к профессиональным обязанностям, а в соотнесении с целым текстом выступают как сигналы психического незддоровья: *ералаш в голове, дело спутаешь*, но особенно показательно упоминание о числе и номере. Утрата пространственно-временной ориентации – важнейший показатель психической болезни, и эта деталь повторяется в тексте ещё дважды. Один раз – когда Поприщин как бы повторяет замечание начальника департамента, отмечая, что в письме собачки Меджи *числа не выставлено*; второй, свидетельствующий о потере представления о времени, – когда он проставляет в начале собственной записи такую дату: *Никоторого числа. День был без числа*.³⁷ (Сюда, конечно, подсоединяются даты всех писем, начиная с *дня величайшего торжества*, когда Поприщин опознает в себе короля Испании: *Год 2000 апреля 43 числа*).

Надо сказать, что начальник отделения обращается к Поприщину довольно дружелюбно – называет ласково-фамильярным словом *братья*, и его слова звучат скорее как укор, чем выговор. Реакция Поприщина идет мимо содер жательной стороны сказанного, она относится к негативной оценке личности начальника департамента:

Проклятая цапля! Он, верно, завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства (193).

³⁶ Там же. С.76.

³⁷ Здесь невольно вспоминаются цветаевские контексты: “День без числа” из “Позмы заставы” (1923) и “Миру который год? <...> Четвертый день И никоторый год” из “Крыслова” (1925).

И так же строится описание второго общения с начальником департамента. Их диалог развивается следующим образом:

“Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?” – “Как что? Я ничего не делаю”, – отвечал я. “Ну, размысли хорошенько! Ведь тебе уже за 40 лет – пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе. Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорской дочерью! Ну, посмотри на себя, что ты? Ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать об этом!” (197-198).

И дальше ответ со стороны Поприщина дается уже в форме записи, которая, однако, имеет форму именно ответной реплики в диалоге:

Что же ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека? (198).

Текст “Записок”, таким образом, насквозь адресован и диалогизирован. Письмо-зеркало Поприщина и письмо-зеркало других отражают противоположные картины. Если для начальника отделения возраст за 40 лет это уже зрелый возраст, то для Поприщина сорок два года – *время такое, в которое, по настоящему, только что начинается служба*; если начальник отделения возмущается попытками Поприщина волочиться за директорской дочкой, то Поприщин замечает *обращенные к нему знаки благорасположенности*.

Итак, в дискурс Поприщина-рассказчика постоянно вплетаются чужие голоса, и в самой текстовой ткани постоянно формируются контрастные текстовые образы происходящего. Технику и семантику чужих голосов в свое время блестяще вскрыл М. М. Бахтин, исследовав прозу Достоевского. В числе его многочисленных необычайно глубоких наблюдений и утверждений имеется и такое: “...диалог позволяет заместить своим собственным голосом другого человека”.³⁸ Vice versa можно сказать, что диалог также позволяет чужим голосом заместить свой собственный голос, один из собственных голосов. В другом месте М. М. Бахтин пишет о Достоевском, что “контрапунктическое сочетание разнонаправленных голосов в пределах одного сознания служит для него и тою основою, той почвой, на которой он вводит и другие реальные голоса”.³⁹ Можно сказать, таким образом, что расколотое (расщепленное) сознание Поприщина инвестирует в текст продукты восприятия и картины мира двух голосов этого сознания, тем самым наделяя текст свойствами иконического знака.

³⁸ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 285.

³⁹ Там же. С. 298.

Попричин как рассказчик. Интертекстуальность

В тексте “Записок сумасшедшего” представлены разные типы и разные техники интертекстуальности. В “Записках” имеются как литературные, так и нелитературные интертексты.⁴⁰ Источниками интертекстов являются художественный, газетный дискурс. Функции интертекстуальных врезок различны – характеристика личности Поприщина, информационное обеспечение сюжетного развития. Цитирование (“текст в тексте”) представляет наиболее яркую форму интертекстуальности.

Попричин переписывает очень хорошие стихки: “Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мне, я сказал”.⁴¹ Попричин оценивает стихи по содержанию, они кажутся ему описывающими его собственную ситуацию и служат даже непосредственным руководством к действию, ибо *ввечеру* того же дня, когда состоялся краткий обмен репликами между *генеральскую дочкою* и Поприциным (“Папа здесь не было?”... – “Ни как нет-с”), он направляется к подъезду её превосходительства <...> чтобы посмортеть еще разик – но нет, не выходила. Лексика и синтаксис стишков архаичны, они как будто взяты из XVIII века, их непрятязательность не смущает Поприщина, который, скорее всего, её не замечает; он приписывает авторство Пушкину (*Должно быть, Пушкина сочинение*), тем самым свидетельствуя, что Пушкин был действительно популярен отнюдь не только в дворянском кругу, но и, скажем так, в мещанско-чиновничьей среде. Попричин вообще не чужд тому, что можно было бы назвать массовой культурой: он посещает театр, смотрит *русского дурака Филатку*, в своих записках пересказывает содержание смотренного им водевиля, высказывается о современной ему драматургической продукции (*Очень забавные пьесы пишут нынче наши сочинители*). Такого рода интертекстуальные вкрапления в форме пересказа не продвигают сюжет, но они “лепят” образ Поприщина как персонажа и демонстрируют работу той части его расщепленного сознания, которая адекватна и абсолютно соответствует норме.

⁴⁰ Типология интертекстов проводится по разным основаниям. Широкое распространение получила классификация Ж. Женетта. Мы различаем типы интертекстов по характеристике донора и по деривационным преобразованиям, см. Ревзина О. Г. Безмерная Цветаева. М., 2009; Москвин В. П. Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили. М., 2011.

⁴¹ В комментариях к “Запискам сумасшедшего” называется автор этого стихотворения – поэт Н. П. Николаев (1758-1815).

Попричин регулярно читает газету “Пчелка” (“Северная пчела”) и другие газеты.⁴² Это основной источник его сведений о ситуации в мире, о событиях в области науки и культуры, об инцидентах и необычных происшествиях. Очевидно значение этих интертекстов для сюжета, причем показательно, что газетные сведения работают на вторую часть расщепленного сознания Поприщина: кроме упомянутого уже интертекста о двух английских коровах, вспомним, как проводит Попричин последний день перед “великим переломом”: *Я сегодня все утро читал газеты*. И именно известие об *упразднении престола* в Испании и *затруднениях в избрании наследника* побуждают Поприщина, что называется, восстановить мировой порядок и занять место испанского короля.⁴³

Интерес Поприщина к политике, вообще говоря, укрепляет его гендерную принадлежность. Политический дискурс он переводит на язык повседневный, пропитанный идиоматичностью. Параллельно слова *политик*, *политический* используются не только в семантически оправданных для них контекстах, но и там, где их меньше всего можно было бы ожидать. В Словаре Академии Российской 1789–1794 гг. имя существительное *политик* наделяется следующими значениями: “1. Искусственный в государственных делах. Глубокой, мудрой, искусной политик. 2. Знающий обхождение с людьми”.⁴⁴ Что же касается прилагательного *политический*, оно толкуется однозначно: “Относительный к правлению государства, к государственным делам”.⁴⁵

К первому типу употреблений, соответствующих словарным значениям, можно отнести следующие: *У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же это может быть, чтобы донна сделалась королевою? <...> Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь...; О, это бестия Полинияк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит и гонит; но я знаю приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик.* Что касается

⁴² См.: Золотуский И. П. “Записки сумасшедшего” и “Северная пчела” // Известия АН ССР. Серия литературы и языка. Том 35, № 2, 1976.

⁴³ Вопрос о вызовециальному порядку в “великой цепи бытия” и его реставрации в “Записках сумасшедшего” исходя из концепции Дж. Лакоффа стал предметом обсуждения с К. Соливетти. Результаты этого обсуждения приведены в статье: Solivetti C. La vita da cani di uno schizofrenico: Il diario di un pazzo di N. Gogol’, a c. di T. Polo. Roma: L’albatros, 2010.

⁴⁴ Словарь Академии Российской 1789–1794. Т. 1–6. М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2001–2005. Т. 4. С. 965.

⁴⁵ Там же. С. 966.

второго типа употреблений, то во всех случаях речь идет о собачках: *Она чрезвычайный политик: все замечает, все шаги человека (о собачке Меджи – O.P.); Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все: портрет и все дела этого мужа; Да, я знал: у них (у собак – O.P.) политический взгляд на все предметы.* Таким образом, косвенно, эти слова становятся ключевыми для доступа в ту область сознания Поприщина, где запускаются механизмы смещения и сдвигов.

Поприщин как рассказчик: переписка

Переписка Меджи и Фидель имеет в тексте сложный и неоднозначный статус. С одной стороны – это ‘чужие’ голоса, переданные в эпистолярном стиле. Вместе с тем это виртуальные голоса, звучащие в больном сознании Поприщина. Вслед за каждым из писем следует его комментарий, который осуществляется в режиме диалога, то есть сам комментарий выступает в функции своеобразной ответной реплики. Наконец, по отношению к запискам самого Поприщина переписка может рассматриваться как чистейший текст в тексте, то есть как интертекстуальная отсылка. Итак, в текст попеременно вступают то одно, то другое Я, и все они соединены, по крайней мере, в одной телесной оболочке. Текст своей структурой предлагает модель работы расщепленного (шизофренического) сознания.

В качестве передатчиков чужих голосов письма собачек выполняют ту же функцию представления взгляда со стороны (внешней точки зрения), что и реплики персонажей. Самый яркий фрагмент подобного рода – о внешности Поприщина и отношении к нему Софи:

Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, ма чеге, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке <...> Волосы на его голове очень похожи на сено (204-205).

И далее следует возмущенная реплика – комментарий Поприщина: *Где ж у меня волоса как сено?*

Письма берут на себя также функцию повествования (движение повествовательного сюжета) и совершенно особым образом подвигают сознание Поприщина к ‘великому перелому’. В письме Меджи он выделяет интертекстуальную отсылку:

“Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете”. Гм! Мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню (202).

Он как будто вырастает из самого себя, и комментируя письмо Меджи, наполненное *этакими глупостями*, Попричин как будто вырастает из самого себя, и находит емкое, афористичное выражение своим духовным запросам: “Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека и требую пищи – той, которая бы питала и услаждала душу” (204). И он как бы переформатирует пошлый сюжет о генеральской дочери и титулярном советнике в сказку о короле и его избраннице.

Экви́вок, или двойное понимание

Ролан Барт пишет, что экви́вок “возникает как продукт двух голосов, воспринимаемых как равноправные; здесь происходит интерференция двух коммуникативных линий”⁴⁶ И дальше, говоря о двойном понимании, Р. Барт указывает, что экви́вок предполагает различие двух адресатов.

Фигура экви́вока распространяется на все текстовое пространство “Записок сумасшедшего”. В самом деле, внутренним адресатом записок является сам Попричин, но “Записки” как художественное произведение имеют другого, внешнего адресата – читателя. Двойное понимание включается в тот момент, когда Попричин впервые слышит *тоненький голосок* собачонки Меджи и дальше узнает о переписке Меджи и Фидель. Спервоначалу это может быть воспринято как хорошо известный литературный прием, но степень расхождения между двумя пониманиями увеличивается по мере продвижения от высказывания к высказыванию. Значимыми оказываются логические категории, значение истинности/ложности суждения. Газетные сообщения об удивительных случаях (говорящие животные) Поприциным воспринимаются как то, что произошло в действительности, в то время как для читателя это примеры забавной небывальщины.

Классический пример двойного понимания – следующая запись Поприцина: *Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал* (отметим вновь привязанность к языку коллективного творчества этноса, ср. еще: *Но около половины второго произошло событие, которого никакое перо не опишет в сравнении с ни в сказке сказать ни пером описать*). Для Поприцина как адресата это констатация изменений в его перцептивных способностях, для внешнего адресата – сигнал и подтверждение психического расстройства. С того момента, как Попричин узнает, что он испанский король (*Именно только сегодня об*

⁴⁶ Барт Р. С/Z. М., 1994. С. 164.

этом узнал я), включается механизм пересчета: внешний адресат (читатель) переводит номинации, передающие восприятие Поприщина, на ‘правильный’ язык (иногда двойное толкование предлагает и сам Поприщин): *депутаты – санитары; множество людей с обретыми головами (или гранды, или солдаты) – пациенты; канцлер – работник медицинского учреждения, ударил меня палкою по голове – рыцарский обычай при вступлении в звание; выбрали голову – я кричал о нежелании быть монахом; начали мне на голову капать холодною водою – не попался ли я в руки инквизиции.* Здесь более всего поражает, насколько хорошо обе системы описания (оба гештальта) подходят к описывающей ситуации. Внутри себя они совершенно логичны и непротиворечивы.

Уместно напомнить, что на протяжении всех своих записок Поприщин регулярно делает такую запись: *Дома большей частию лежал на кровати* (запись от 4 октября); *После обеда большей частию лежал на кровати* (запись от 9 ноября); *Большой частию лежал на кровати* (Запись от 12 ноября). Последняя запись от 8 декабря (перед появлением нового календаря: *Год 2000 апреля 43 числа*) дает изъяснение тому, что именно делал Поприщин в лежачем положении: *Большой частию лежал на кровати и рассуждал о дела Испании.* Иначе говоря, “великий перелом” – это результат напряженной умственной деятельности. По существу, перед нами доведенное до своего логического конца представление о разных точках зрения и разных видениях, а, значит – и об их относительности. Здесь язык не только предоставляет такую возможность, но и возможность эта оказывается разрушительной для человека.

Все утверждения Поприщина, относящиеся к деформации общепринятой и, как утверждают, верифицированной картины мира, выражены на абсолютно правильном языке, с внесением причинно-следственных отношений. То есть язык как бы допускает комбинацию любых следствий с любыми причинами и выстраивание любых “возможных миров”. Нам кажется абсурдным “открытие” Поприщина:

Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай (211-212).

Можно, однако, задаться вопросом, существует ли такая “точка зрения”, или такой уровень понимания, при котором данные высказывания являются не такими уж абсурдными. Существительное “земля” в русском языке многозначно, и одно из значений – “суша, земная твердь”, а другое – “государство”. Китай и Испания, безусловно, разные государства, но они едины в том, что принадлежат земле. Испания и Китай –

разные топонимы, но одновременно – это знаки письменного языка как семиотической системы. Здесь нельзя не вспомнить пьесы Йонеско, например, такое утверждение из пьесы “Урок”: “Что отличает неоиспанские языки от других языковых групп, таких как австрийские и неоавстрийские... это их потрясающее сходство, которое почти не позволяет их отличить друг от друга...”⁴⁷ Во всех этих случаях устанавливается родо-видовое отношение. Двойное понимание (лингвистический экви-вок) заложено, таким образом, в сущности языка.

Образ автора

В тексте “Записок” мы встречаем скрытые интертексты, которые отсылают к творчеству самого Гоголя. Они рассыпаны по тексту в виде метонимических следов – слов, образов, специфических конструкций, стилизаций романтического стиля. Это такие словесные сигналы, как *шинель*, *Пушкин, почтмейстер, бочар, луна, носы, луна, черт, тройка быстрых, как вихорь, коней*; это свойственные именно Гоголю формы косвенно-прямой речи (*и потом сказать им, что я плюю на вас обоих*, ср. в “Ревизоре”: *Трактирщик сказал, что не дам вам есть*).⁴⁸ Эти интертексты не могут быть отнесены к Попричину-рассказчику. Также нет оснований связать с языковой личностью Попричина украинизмы, которых, впрочем, весьма немного в тексте “Записок сумасшедшего”. Здесь можно указать на форму родительного падежа единственного числа у существительных мужского рода: *чуть-чуть не расклеил носа*; *Одолжите ножичка починить перышко*. К особенностям украинского языка относятся “параллельные формы винительного падежа единственного числа от многих существительных мужского рода: *взяв ножса и ніж...*”⁴⁹ Отметим, что искусная обработка приведенного высказывания (внутренняя рифма *ножичка – перышко*, повтор глагольного управления, ритмическая организация) относятся к выразительным средствам.

⁴⁷ Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене (Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием) // Труды по знаковым системам. V. Тарту: ТГУ, 1971. С. 249 -250.

⁴⁸ Б. А. Успенский видит в данной конструкции несобственно-прямую речь (Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970. С. 48-51). Н. С. Поспелов рассматривал ранее такие построения именно как косвенно-прямую речь, являющуюся переходным образованием на пути от прямой речи к несобственно-прямой (Поспелов Н. С. Несобственно-прямая речь и формы её выражения в художественной прозе Гончарова 30-40-х годов // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. 4. М., 1957).

⁴⁹ Белодед И. К., Жовтобрюх М. А. Украинский язык // Языки народов СССР. Том первый. Индоевропейские языки. М., 1966. С. 135.

вам, далеким от языка Поприщина-рассказчика. Так мы приходим к образу автора в “Записках сумасшедшего”.

Категория образа автора в художественном тексте была выделена и проанализирована В.В. Виноградовым.⁵⁰ Образ автора – это образ писателя как создателя данного текста. Образ автора формируется в тексте на основе того, какое воплощение получают в этом тексте его структурные параметры. Обобщенно можно сказать, что такими параметрами являются коммуникативная рамка (отправитель/отправители – получатель/получатели), композиция и типы композиционно – речевых структур, язык. Два первых параметра были по существу уже рассмотрены, и здесь мы хотели бы остановиться на языке гоголевской повести.

Вопрос о языке может показаться достаточно очевидным, между тем он таит в себе целый комплекс проблем. По мысли В. В. Виноградова, в “образе автора” воплощено отношение писателя к литературному языку своей эпохи, к способам его понимания, преображения и эстетического использования.⁵¹ На это, очень емкое понимание В.В. Виноградов опирался, исследуя язык русских писателей XVIII-XX веков. В работах, посвященных языку Гоголя,⁵² В.В. Виноградов прослеживает эволюцию его художественного языка от “Вечеров на хуторе близ Диканьки” до “Выбранных мест из переписки с друзьями”, исходя из присутствия в этом языке различных генетико-стилистических пластов (просторечие и украинизмы, церковнославянизмы и европеизмы), социально и профессионально маркированных языков, следования различным литературным стилям. Характеризуя в целом язык “Петербургских повестей” В.В. Виноградов отмечает, что здесь представлен “нейтральный” фонд устно-бытовой лексики, свойственной людям неаристократического круга,⁵³ то есть речь идет о языке повседневного городского общения. Сверх того по отношению к “Запискам сумасшедшего” отмечается, что “разговорно-чиновничья и канцелярско-деловая струя заметно усиливается и подчиняет себе все другие социальные оттенки и различия стилей просторечия”⁵⁴.

Другие аспекты художественного идиолекта Н. В. Гоголя (и прежде всего – индивидуально-авторские выразительные средства) были рас-

⁵⁰ Виноградов В. В. О теории художественной речи. М., 1971.

⁵¹ Виноградов. В. В. О языке художественной прозы. М., 1980.

⁵² Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX в. М., 1982. Глава IX; *Он же. Язык Гоголя // Виноградов В. В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя.* М., 1990.

⁵³ Виноградов В. В. Язык Гоголя. С. 280.

⁵⁴ Там же. С. 282.

крыты в многочисленных исследованиях, среди которых пионерской стала известная монография Андрея Белого.⁵⁵

Язык как художественный символ

В лингвистическом подходе к художественному тексту всегда есть некоторая недоговоренность. Чисто смысловой и интерпретационный подход признает, разумеется, значение языка, но сосредотачивается на каких-то отдельных явлениях, привлекших внимание исследователя: ключевых словах, коннотациях, тропах – чаще всего метафорах. Язык текста во всей полноте его функционирования в тексте не фигурирует как объект рассмотрения. И такая точка зрения имеет, как будто, безусловное право на существование.

В самом деле, какое значение имеет для реконструкции художественного мира “Записок сумасшедшего”, скажем, вариативность грамматических флексий существительного? Что происходит из частотности употребления того или иного варианта? И это тем более верно, что дать полное описание языка любого текста практически невозможно, ибо оно сведется, в конце концов, к описанию языковой системы. Все же мы придерживаемся другого взгляда, восходящего к учению В.В. Виноградова о символе как единице художественной речи. Символ в понимании В.В. Виноградова – это “эстетически оформленная и художественно локализованная единица речи в составе поэтического произведения”.⁵⁶ Существенными являются три момента: а) символом может выступать любая единица речи – от морфемы до высказывания; б) символы, по существу, омонимичны единицам языка в плане их использования в других разновидностях дискурса; в) значение символа “обусловлено значением всей композиции данного ‘эстетического’ объекта”.⁵⁷ Кстати, это понимание по существу соответствует выработанному в семиотике представлению о художественном языке как вторичной моделирующей системе. Но здесь возникает важнейший вопрос: как определить “сверхсемантику” символов, то есть то значение, которое они приобретают, в составе художественного текста? При этом имеются в виду не выразительные средства и приемы, не интертексты, а вот именно сам общенациональный язык, его словарь и его грамматика.

⁵⁵ Белый А. Язык Гоголя. М., 1924.

⁵⁶ Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски) // *Он же. Избранные труды. Поэтика русской литературы*. М., 1976. С. 372-373.

⁵⁷ Там же. С. 374.

Мы знаем, что в языке Пушкина был окончательно решен вопрос о “скрещении книжного и обиходного начал”, как это называет Г. О. Винокур.⁵⁸ Однако проблема нормы – в особенности грамматической и стилистической нормы – продолжала оставаться актуальной на протяжении всего девятнадцатого века. Здесь может возникнуть вопрос: какое значение имеет языковая норма, как она была представлена в русском литературном языке в 30-е годы XIX века, к художественному миру гоголевского текста? На наш взгляд, имеет значение, и очень большое. Сейчас уже расхождений между современным языком и языком эпохи написания “Записок сумасшедшего” так много, что вполне возможен экспериментальный перевод этого текста на современный язык. При таком переводе возникает совершенно иной текст. Это говорит о том, что гоголевский текст неотделим от времени своего написания, что, впрочем, абсолютно естественно и даже тривиально, если иметь в виду, что в каждый конкретный исторический момент человек располагает именно и только тем языком, какой наличествует в этот период.

Если допустить, что весь язык в целом может рассматриваться как единый художественный символ – какова “сверхсемантика” такого символа? Можно предположить, что это значение историчности, или темпоральности в следующем смысле: в силу того, что язык используется для вербализации внеязыкового мира и разнообразных коммуникативных ситуаций, он как раз и свидетельствует о “картине мира” и коммуникативных ситуациях данного времени. Язык как бы втягивает в себя этот мир (то, что иногда называют “внешней семантикой”), и в этом смысле темпоральности.⁵⁹ За языковыми образованиями встает материальная действительность, бывшая прежде объектом их референции, художественный текст просачивается этой темпоральностью, в свою очередь перенося её в создаваемый текстом художественный универсум. Для понимания того, что произошло с Поприщиным, очень важно понять, что он представляет собою как “исторический” человек. В трудах по исторической психологии имеются два противоположных мнения относительно человека во времени. Традиционное представление – о неизменном человеке, “с его вечными и однообразными страстями и всегда одной и той же долей здравого смысла”.⁶⁰ Присущее языку зна-

⁵⁸ Винокур Г. О. Русский язык. Исторический очерк // Он же. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 100.

⁵⁹ Предпосылками для данного утверждения послужил историографический подход к “истории понятий”, разработанный Р. Козеллем (см.: История понятий, история дискурса, история метафор. Сб. статей. Пер. с нем. М. 2010).

⁶⁰ Мандру Р. Франция раннего нового времени, 1500-1640. Эссе по исторической психологии. Пер. с франц. М., 2010. С. 45.

чение темпоральности является аргументом в пользу другого взгляда – присутствие человеческой вариативности: “каждая цивилизация, или точнее, каждый момент развития цивилизации, показывает нам человека, который отличается от своих предшественников и своих преемников во всем, начиная от эмоциональной уравновешенности и до менタルного оснащения”⁶¹. Темпоральность, как неустранимый смысл, входит и в способ телесного существования Поприщина, и в тип его социальной среды, и в содержание его интеллектуальных усилий и эмоциональных переживаний. Разумеется, вслед за человеком “историческим” на первый план выходят уникальные характеристики именно данной, конкретной личности.

Продолжая разговор о языковой норме, следует отметить еще некоторые её аспекты. Во-первых, языковая норма не существует изолированно, как то, что применимо только к языку: “Концепт нормы применим практически ко всем сферам жизни – явлениям природы, естественным родам, выведенным культурам, артефактам, организмам и механизмам, погоде, социальным явлениям, поведению людей и их действиям (деонтические нормы), экономике, искусству, науке, языку и мышлению, профессиональным действиям, играм, спорту и т.п. В сущности, основные механизмы жизни сводятся к борьбе хаоса и космоса, закона и беззакония, отвечающим деструктивному и конструктивному началу, причем творчество связано как с тем, так и с другим”⁶².

Во-вторых, рядом с нормой всегда существует аномалия. Н. Д. Арутюнова следующим образом характеризует соотношение нормы и аномалии: “Нельзя, конечно, утверждать, что норма, правило и порядок хороши тем, что порождают отклонения, нарушения и беспорядок. Достаточно очевидно, однако, что эта последняя категория играет заметную роль как в действии механизмов жизни и языка, так и в их познании”⁶³.

Таким образом, и в норме, и в аномалии, содержится своя эвристика. Наконец, следует сказать о качестве самой языковой нормы. В ней присутствует все: и относительность, и социальность (рукотворность), и предписание, и запрещение, и вариативность, и престижность (Здесь перечисляются признаки, на которые указывает Н. Д. Арутюнова, характеризуя концепт нормы)⁶⁴. Самое главное – каково значение этих признаков в конкретный период существования языка. В 30-е годы XIX

⁶¹ Там же.

⁶² Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. С. 75-76.

⁶³ Там же. С. 74.

⁶⁴ Там же.

века языковая кодификация (“запрещающие” нормы) охватывала значительную часть языковых явлений, относящихся ко всем языковым уровням. Наряду с этим существовала вариативность – в орфографии и в фонетике, в грамматике (в широком смысле), в стилистической характеристизации. В языке таким образом присутствовали и “хаос”, и “космос”. В этом смысле норма была “плавающей”. Встает вопрос о “сверхсемантике” такой нормы, о норме как художественном символе. В качестве параллели можно привести проводимое Н. Д. Арутюновой различие между закатом – явлением природы и закатом-знаком.⁶⁵ Применительно к языку 30-х годов XIX века мы говорили о значении темпоральности. Применительно к языковой норме того же времени можно говорить о незавершенности и неустойчивости. Эта норма присуща языковой личности Поприщина как персонажа и как рассказчика.

Попришин между письменным и устным дискурсом

В. М. Живову принадлежит замечание о том, что носитель языка “выступает прежде всего как наследник того языкового опыта, который был накоплен предшествующими поколениями и освоен им в ходе его языкового существования (при устной коммуникации, в процессе чтения, при обучении языку и т.д.)”⁶⁶ Записки как литературный жанр соотносятся с письменным дискурсом и вместе с тем опираются на повседневный дискурс и, соответственно, устную речь. В 30-е годы XIX века разговорная речь, как устная разновидность литературного языка, отстояла от кодификации и регламентации в несравненно большей степени, чем другие разновидности дискурса. На нескольких примерах из синтаксиса и морфологии можно показать двойственность языковой личности Поприщина. Поприщин причастен к письменному языку, к написанию, что можно связать с его службой и с чтением. Он вообще внимателен к языку и к слогу. О письме собачки Меджи Поприщин отзываются вначале весьма одобрительно: *Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква ять везде на месте*. Он высказывает и общее суждение относительно “правильного письма”:

Правильно писать может только дворянин. Оно конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ пописывает иногда; но их писание большей частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога (195).

⁶⁵ Там же. С. 90.

⁶⁶ Живов В. М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII-XVIII веков. М., 2004. С. 12.

В тексте “Записок сумасшедшего” мы встречаем синтаксические конструкции со стилистическим значением книжности. Таково унаследованное из старославянского языка использование связки *есть*: *Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из благ на свете; Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь* (из писем собачки Меджи – *O.P.*); *Сегодняшний день – есть день величайшего торжества.*⁶⁷ Таковы приставочные обороты: *увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил; Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам; он увидел, быть может, предпочтительно мне оказываемые знаки благородственности.*

Дислокация управляющих и управляемых членов в этих оборотах является книжной и архаичной, ибо отсылает к языковой практике XVIII века и не завершенному в первой трети XIX века процессу выработки русской ‘органической’ синтаксической нормы.⁶⁸ В тексте встречаются и другие книжные конструкции, которым в дальнейшем предстояло стать синтаксическими архаизмами, ср. *Великий инквизитор ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием.*⁶⁹ И в повествовании, и в описании, и в рассуждении Поприщин – рассказчик прибегает как к простым предложениям разной формальной структуры, так и к сложным предложениям с разветвленной структурой.

В какие-то моменты мы начинаем остро чувствовать ‘дыхание автора’. Как это происходит? Рассмотрим небольшой фрагмент из записи от Ноября, 8:

Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так, что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошичают и лезут в дворяне (198).

Легко видеть, что это сложное предложение с сочинением и подчинением воспроизводит ход мышления Поприщина, переданный на

⁶⁷ Л. А. Булаховский приводит обширный список примеров со связкой *есть* из художественных текстов первой трети XIX века и отмечает, что в позиции предиката здесь присутствуют по большей части абстрактные существительные. См.: *Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. М., 1954. С. 297-298.*

⁶⁸ См. об этом: *Ковтунова И. И. Порядок слов в русском литературном языке XVIII-первой трети XIX века. М., 1960.*

⁶⁹ О синтаксических процессах в конце XVIII-первой трети XIX века в связи с реформой Н. М. Карамзина см. также *Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. С. 186-199.*

письме. Здесь нет заботы о соразмерности частей, о логическом следовании и даже о грамматической правильности. Вслед за бытийным предложением *Был еще какой-то водевиль* вводятся различные определения *водевиля* в той последовательности, в которой они приходят в голову, с вкраплениями детализирующих определений (*с забавными стишками на стряпчих – особенно на колледжского регистратора; с забавными стишками – весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура*). Синтаксическая несогласованность создает анакондуф, который еще усиливается при переходе ко второй части сложносочиненного предложения (*с забавными стишками – а о купцах прямо говорят...*). Это не мешает пониманию, ибо разговорная речь, как и внутренняя, основана на смысловом подходе. Для такого способа вербализации отлично подходит высказывание Ш. Балли: “Для простого человека языковые процессы служат лишь для того, чтобы сделать явными его впечатления, желания, намерения. Как только это действие совершено – цель достигнута”.⁷⁰ А дальше Балли продолжает: “Поэт же стремится представить жизнь в согласии с законами гармонии; он хочет выплеснуть наружу свои чувства, не интеллектуально и не обобщая их...”⁷¹

В тексте “Записок сумасшедшего” мы находим фрагменты, организованные в соответствии именно с поэтической техникой. Один из них – запись Поприщина о его желаниях: *Желалось бы мне узнать <...> Хотелось бы мне рассмотреть <...> Хотелось бы мне заглянуть в гостиную <...> Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где её превосходительство, – вот куда хотелось бы мне! <...> Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет.* Здесь представлена характерная для поэтической строфы лексико-синтаксическая анафора, дополненная кольцевой замыкающей рифмой. И Ш. Балли прав, когда он говорит о гармонизации: вполне земные мечты Поприщина, что называется, облагораживаются, обретая образ земного рая.

Еще более сильный эмоциональный заряд несет в себе последняя запись Поприщина, в которой особенно выделяется следующий фрагмент: “Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света!” (214). Однотипные предложения, синтаксическая мерность, народно-поэтическая лексика и народно-поэтические образы сообщают этому ритмически безупречному отрывку

⁷⁰ Балли Ш. Язык и жизнь. М., 2003. С. 44.

⁷¹ Там же.

совершенно особую можно сказать символическую значимость. Автор и его персонаж единственный раз на протяжении всего текста оказываются необычайно близки, и их ‘выплеснутые наружу чувства’ навсегда запечатлеваются в тексте.

Различия между письменным и устным дискурсом относятся, разумеется, не только к синтаксису, но и к грамматике. И здесь та же картина, та же двойственность: в условиях неустойчивой нормы бессознательные выборы в отношении вариантовых флексий делаются то в пользу книжности, то просторечности, для первой половины XIX века во многих случаях равной именно разговорности, то есть устному дискурсу. В. М. Живов пишет о том, что “с точки зрения коммуникативного задания морфологические варианты предстают как чистые технологические издержки”,⁷² то есть можно было бы предположить, что та вариативность флексий, которая имеется в тексте “Записок сумасшедшего”, несет в себе каких-то дополнительных смыслов.

Все же, прежде чем делать окончательные выводы, обратимся к примерам. В сфере имен обратим внимание на вариативность флексии творительного падежа женского рода *-ою*, *-ю* / *-ой*, *-ей*. В свое время (1735 г.) В. Тредиаковский включил эту вариативность в число поэтических вольностей, М. В. Ломоносов в “Российской грамматике” (1755 г.) представил оба варианта как равноправные альтернативные, в грамматике Н. И. Гречи (1834 г.) для существительных два варианта также признаются равноправными, однако для прилагательных флексия *-ой* / *-ей* квалифицируется как “сокращение, употребляемое в просторечии”.⁷³ Вот соответствующие словоформы в последовательности их появления в тексте “Записок сумасшедшего”, учитывая еще местоимения и причастия: *ты спешишь вон за тою – с собачонкою, шедшею за двумя дамами – услышав её говорящею по человечески – казните ваше генеральскою ручкою – хоть бы головою потрудился кивнуть – волочишься за директорскою дочерью – ни гроша за душою – примазывает <...> какою-то розеткою – за гостиною – “Мне нужно поговорить с вашей собачонкой” – с большою охотою – что бы со мною было – кончит собачиною – целою головою выше – думаешь достать его рукою – между мною и Филиппом – кивнул только рукою – червячик величиною с булавочную головку – с одною повивальною бабкою – небрегут своею работою – показалась странною необыкновенная скорость –*

⁷² Живов В. М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII-XVIII веков. С. 13.

⁷³ Цит. по Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX вв. С. 202.

ударил меня два раза палкою по спине – ударил меня палкою – начали мне на голову капать холодною водою – выгнал палкою из под стула – пренебрег его бессильною злобою – бессильною злобою.

Как видим, число употреблений формы творительного падежа достаточно велико. Из двух вариантных флексий – церковнославянской и русской по происхождению – во всех случаях, кроме одного, избирается полная форма. Она избирается независимо от значения существительного, при автономном употреблении, в словосочетании и в идиоме, независимо от композиционного членения и тематического содержания отдельных фрагментов. Единственный случай использования флексии *–ой* (выделено жирным шрифтом – *O.P.*) – это как раз прямая речь, что соответствует значению устности. Как отмечает Г. О. Винокур, именно такая полная (без беглого звука) форма утверждалась в качестве нормативной в Словаре Академии Российской 1789-1794 гг.⁷⁴

Добавим сюда вариативность *-ье*, *-ья*, *-ью* / *-ие*, *-ия*, *-ию* – здесь, по рекомендации Н. И. Гречи, выбор предоставлялся “воле пишущего”.⁷⁵ Так вот, “воля пишущего” в нашем случае была такова, что избирается только полная форма творительного падежа: *Дома большею частию лежал на кровати; После обеда большею частию лежал на кровати; Большею частию лежал на кровати; Большой частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании; они <...> ударились в аферу и большею частию мостят камни на мостовой; поклялся же человек непримиримою ненавистию.* Как видим, выбор церковнославянского по происхождению книжного окончания почти однозначен. Таким образом, одна сторона языкового существования Поприщина – письменная речь, в которой немалую роль играет его, так сказать, профессиональная деятельность, относящаяся к официально-деловому дискурсу: одна из записей Поприщина – “Пересматривал и сверял бумаги” (199).

Обратимся теперь к морфологическим вариантам *-а/-я -у/-ю*. Вариативность церковнославянской и русской флексий обсуждается в русских грамматиках и в XVIII веке, и на протяжении всего XIX века. М. В. Ломоносов в “Российской грамматике” (1755 г.) так описал значение этого противопоставления:

Сие различие древности слов и важности знаменуемых вещей, весьма чувствительно и показывает себя не редко в одном имени. Ибо мы говорим: *святаго*

⁷⁴ Винокур Г. О. К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII века (Словарь Академии Российской, 1789-1794 гг.) // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. С. 178-180.

⁷⁵ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX вв. С. 202.

духа, человеческого долга; Ангельского гласа; а не, святаго духу, человеческого долгу; ангельского гласу. Напротив того, свойственное говорится: *розового духу: прошлогоднаго долгу; птичья голосу; нежели розового духа; прошлогоднаго долга; птичья голоса.*⁷⁶

В “Русской грамматике А. И. Востокова форма на -у уже не рассматривается в контексте чисто стилистической оппозиции, ибо прикрепляется к семантическим группам существительных-отвлеченных, сопирательных, вещественных. Тем не менее “в устной речи употребление этих форм было шире и свободнее”.⁷⁷ Н. И. Греч также отмечает тяготение этих форм к просторечию.⁷⁸ Л. А. Булаховский⁷⁹ и В. И. Чернышев⁸⁰ приводят обширные списки примеров с флексией -у из поэзии и прозы, журнального и эпистолярного дискурса XIX века – такие формы не резали слух и могли свидетельствовать о частом использовании того или иного существительного. И в современном русском языке представлены достаточно сложные правила распределения данных морфологических вариантов.⁸¹ Какова же ситуация в тексте “Записок сумасшедшего”? Вот список соответствующих словоформ с минимальными контекстами: *не выставишь ни числа ни номера – спросили себе фунт чаю – какого в нем народа не живет – очень приятное изображение бала – уехал из дома – терпеть не могу лакейского круга – пора бы ума набраться – не заметил моего прихода – из-под ворот каждого дома – напускают копоти и дыму – не бегала по свету далее ворот нашего дома – никто еще не высосал из них мозга – не нашла никакого аромата – приезжает с балу – если бы мне не дали соуса с рябчиком – большая часть народа – не подал никакого вида – не имею королевского костюма – Никакого не будет веса моему достоинству – Такого ада я никогда еще не чувствовал – несите меня с этого света.* Список включает значительную часть таких употреблений, по отношению к которым

⁷⁶ Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1755. С. 81-82.

⁷⁷ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX вв. С. 202. См. также: Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 59-62.

⁷⁸ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX вв. С. 202.

⁷⁹ Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 59-62.

⁸⁰ Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики // Чернышев В. И. Избранные труды. Том первый. М., 1970. С. 492-498.

⁸¹ См. Русская грамматика. Том 1. С.486-488.

вопрос о морфологических вариантах вроде бы и не должен вставать – возможна только флексия *-а/-я*. Однако это дает повод вернуться к украинизмам в языке Гоголя. В украинском языке отмечается “значительно более широкое, чем в русском, использование окончания родительного падежа единственного числа *-у* для существительных мужского рода...”⁸² Л. А. Булаховский отмечает пристрастие Гоголя к формам на *-у*, *-ю*. Между тем, во всяком случае в тексте “Записок сумасшедшего”, никакого пристрастия к этим формам у Гоголя не обнаруживается. Фактически речь идет о четырех употреблениях: *фунт чаю – уехал из дома – напускают <...> дыму – приезжает с балу*.

Каждый из этих случаев находит вполне внятное объяснение внутри системы русского языка. В самом деле, *фунт чаю* – количественное значение, само словосочетание как будто извлечено из повседневного дискурса; *уехал из дома* – почти наречная форма с пространственным значением (Л. А. Булаховский отмечает частотность формы *дому* у писателей первых десятилетий XIX века).⁸⁴ При этом форма *дому* коррелирует в тексте “Записок сумасшедшего” с формой *дома* (*из-под ворот каждого дома, далее ворот нашего дома*) в полном соответствии с действующей ныне рекомендацией об использовании флексии *-а* при наличии определения: *стакан чаю*, но *стакан горячего чая*.⁸⁵ Далее, *напускают копоти и дыму* – правильнее не *дыму*, а *дыма*, однако слово *дым* включено в список существительных с вещественным значением, от которых и в современном языке активно образуется словоформа родительного падежа единственного числа с флексией *-у*.⁸⁶ Наконец, имеем пару *очень приятное изображение бала – приезжает с балу*. Л. А. Булаховский приводит пример из А. С. Грибоедова (*И надо кое-что для нынешнего балу*), относя его к “фактам, с теоретической точки зрения более своеобразным”.⁸⁷ Форма *с балу* представленная у Гоголя, во-первых, соответствует частому употреблению в XIX веке “родительного на *-у* после предлогов *из, от, с* в оборотах, означающих движение удалительное”,⁸⁸ и, во-вторых, свидетельствует, на наш взгляд, не только о частотности существительного *бал* в языке этого времени, но и о

⁸² Белодед И. К., Жовтобрюх М. А. Украинский язык. С. 135.

⁸³ Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 59.

⁸⁴ Там же. С. 60.

⁸⁵ См. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. С. 116.

⁸⁶ Там же. С. 486.

⁸⁷ Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 60.

⁸⁸ Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. С. 494.

распространенности того события, которое оно называет. Завершая вопрос об ‘украинском следе’ в употреблении флексии *-у/-ю* в гоголевском тексте, оправданно привести мнение В. Г. Белинского по поводу формы родительного падежа от слов *нос*, *шум*, *ветер*, *дым*: “...как природный русский, знаю достоверно, что слова эти в русском языке принимают в родительном падеже окончание, равно и *a*, и *у*, а когда которое именно, на это нет постоянного правила, но это слышит ухо природно-русского, слышит – и никогда не обманывается. Всякий русский скажет, как у Гоголя: “Волос, вылезший из носу”, и ни один русский не скажет: “Волос, вылезший из носа”. Точно так же должно говорить *порывы ветра*, а не *порывы ветру*.⁸⁹ Таким образом, Белинский наделяет Гоголя языковым чутьем природного русского – этим качеством, собственно говоря, наделен и Поприщин.

Он воспроизводит ту грамматику, которую усвоил как норму из различных разновидностей дискурса, и грамматические несоответствия в собственном языке его отнюдь не смущают – скорее всего, он их не замечает. Взять, например, слово *ералаш*, которое в одном случае фигурирует в тексте “Записок” как существительное мужского рода (*ералаш такой*), а в другом – как женского (*какую бы вы ералаши подняли*). Тюркизм *ералаш*, очевидно, чаще использовался как существительное мужского рода,⁹⁰ однако его двуродовость в XIX веке подтверждает В. И. Чернышев.⁹¹ В отдельных случаях можно с осторожностью предположить что выбор варианной формы является осознанным и выступает как средство характеризации. Так, заимствованное в XVIII веке существительное *кофе* существовало в нескольких вариантах: *кофе* (м.р.), *кофе* (с.р.), *кофей*, и *кофий*; – в эпистолярном дискурсе Меджи, стилизующем и пародирующем ‘дамский’ язык ‘хорошего общества’, находим кажущийся изысканным “кофий со сливками”. Сложнее интерпретировать в письме Меджи форму *doga*: “А какой страшный дога останавливается перед моим окном!” (203). Существительное *dog* известно в русском языке с первой половины XIX века.⁹² Имея в виду нем. *Dogge* и чешск. *doga*, можно думать о существовавшей некоторое время

⁸⁹ Цитируется по Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 61.

⁹⁰ См. несколько примеров в: Виноградов В. В. ЕРАЛАШ // Виноградов В. В. История слов. М., 1994. С. 760.

⁹¹ Чернышев В. И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. С. 523.

⁹² Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Том 1. М., 1993. С. 258.

вариантности *дог/дога* вне каких-либо стилистических оттенков. То же, очевидно, относится и к вариантам *эполета/эполет*. В “Записках” представлена *эполета*: “у меня на правом плече эполета и на левом плече эполета” (206); у В. И. Чернышева даны без комментариев обе формы,⁹³ они же представлены в Словаре С. И. Ожегова, в Малом академическом словаре (МАС-2) форма мужского рода названа устарелой.

В “Записках сумасшедшего” систематически используются деепричастные обороты, что само по себе подтверждает установку на письменную речь. Сами же деепричастные формы (опять-таки в последовательности появления) таковы: *услышавши – не успевши – услышав – за-севши – увидевши - пришедши поднявши ножку – заперши – вспомнивши – насевши - надевши – увидевши – услышавши*. В этой цепочке представлена лишь одна форма без суффикса *-вши*, то есть можно говорить о том, что в языковом сознании субъекта речи выбор деепричастной формы почти безальтернативен, как и в случае с рассмотренными выше морфологическими вариантами творительного падежа единственного числа. Однако этот безальтернативный выбор в точности противоположен первому, ибо, как отмечает Л. А. Булаховский, “уже грамматики Грече и Востокова характеризовали окончание *-вши* как по преимуществу просторечное.⁹⁴ Правда, формы на *-вши* продолжали иметь достаточно активное хождение в литературном дискурсе XIX века,⁹⁵ однако тенденция здесь совершенно однозначна – церковнославянский и русский по происхождению деепричастные суффиксы, конкурируя между собой, в конечном счете стали коннотаторами стилистических смыслов норма – просторечие.⁹⁶

⁹³ Чернышев В. И. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 525.

⁹⁴ Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 132.

⁹⁵ См. об этом Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII–XIX вв. С. 373.

⁹⁶ Ср. категорическое высказывание о дистрибуции деепричастных суффиксов в современном русском языке: “Деепричастия в современном русском языке по стилистической окраске распадаются на две диаметрально противоположные группы: книжные формы с суффиксами *-а*, *-я*: *дышиа*, *зная*, *сказав* и разговорно-просторечные с суффиксами *-вши*, *-ши*: *сказавши*, *прииедши*” (Голуб И. Б. Стилистика русского языка. М., 1997. С. 325–326).

становится коннотатором фамильярности и снисходительного полупреприятельского отношения. И с другой стороны, уже ощущая себя испанским королем, Поприщин следующим образом объясняется с генеральской дочкой: “Я сказал только, что счастье её ожидает такое, какого она и вообразить не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе” (209). Нередуцированная флексия в существительном *счастье* имеет стилистическое значение возвышенности, что находится в полном соответствии с установкой говорить “о высоких предметах высокими словами”.

Часть вариантов флексий можно сопоставить именно с правилами, которые в грамматиках этого времени формулируются в терминах “отвергается”, “не рекомендуется” и под. (такая шкала, добавим, используется и в описаниях норм современного языка). Конечно, и здесь действует фактор времени и актуальная для конкретного времени норма, фиксирующая изменения, происходящие в дискурсе. К уже приведенным можно добавить такие формы, как *поправил волоса* (этую форму как нормативную для XIX века указывает В. И. Чернышев),⁹⁷ *в уголку* (тот же Чернышев считает эту форму фактически равноправной с формой *в уголке*).⁹⁸ Сами формулировки грамматических рекомендаций могут говорить об употребительности той или иной словоформы. В “Записках сумасшедшего” читаем: “вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали?”(214). В. В. Виноградов ссылается на “Справочное место русского слова” 1839 года (“нечто вроде сборника ходячих стилистических ошибок”),⁹⁹ в котором помещено в частности, такое разъяснение: “Белеть, белеться. Белеть значит: мало-помалу становиться белым, например: *холст от времени белеет*. Белеться значит: казаться белым, например: *на башне белеется флаг*. Часто употребляют одно слово вместо другого”.¹⁰⁰ Именно это “одно слово вместо другого” мы и имеем у Гоголя. Л. А. Булаховский квалифицирует смешение залоговых форм типа *виднеть – виднеться* “как вольности или погрешности в отношении и своего времени”.¹⁰¹

Конечно, время переставляет акценты, и наше сегодняшнее восприятие текста и общение с ним отличается и от восприятия современни-

⁹⁷ Чернышев В. И. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 504.

⁹⁸ Там же. С. 501.

⁹⁹ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX вв. С. 342.

¹⁰⁰ Там же. С. 343.

¹⁰¹ Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. С. 121.

ков и от восприятия людей позднейшего времени. Здесь возникает фактор адресата в его поколенческом аспекте. Обретает особое значение иная норма, которую иногда формулируют следующим образом: “Это правильно, но так не говорят”.¹⁰² Эта норма не регламентирована специальными правилами, она существует во времени средней длительности благодаря воспроизведению в дискурсе, чтобы затем смениться иной – не языковой, а именно ‘дискурсной’ нормой. В самом деле, первая же фраза скажет нам о том, что перед нами текст XIX века: *Сего-дняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Вместо сегодняшнего дня мы скажем сегодня.* Можно назвать и другие маркеры времени ‘дискурсной’ нормы XIX века – употребление наречия *тоже* вместо *также и сейчас* вместо *тотчас или сразу*: *Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю <...> Я сейчас узнал её: это была карета нашего директора <...> Девчонка была глупа! Я сейчас узнал, что глупа!*

Итак, обратившись к грамматике, мы могли убедиться в том, что языковая личность Поприщина, что называется, распостерта между письменным и устным дискурсами. Можно ли, применительно к данному уровню, выделить такие явления, которые следует отнести не к Поприщину, а к автору? Приведем два примера, добавив к морфологическим вариантам словообразовательные форманты. В одном из писем Меджи находим следующий фрагмент:

Иной *преалиповатый* бедняга глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он *презнатная* особа <...> А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего *грубиян* верно не умеет <...> Этот *болван*, должно быть наглец *преужасный* (203).

Кольцевой повтор приставки *пре-* вкупе с повтором в словах ‘*болван*’ – ‘*грубиян*’ – это черты стихотворной техники, как бы наложенные на прозаическое высказывание. Другой отрывок – из записи Поприщина о том, что он надеется увидеть, проникнув в будуар Софи:

как там стоят все эти баночки, скляночки <...> Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становится вставая с постели свою ножку, как надевается на эту ножку белый как снег чулочек... (199-200).

Многократный повтор суффикса имеет следствием актуализацию уменьшительно-ласкательного значения и дальнейший метонимический перенос – с описания отдельных вещей на передачу отношения к их владелице. “Он сквозит в художественном произведении всегда, –

¹⁰² О трех типах нормы см. Долинин К. А. Стилистика французского языка. Л., 1978.

писал В. В. Виноградов в 1927 году. В ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик”.¹⁰³ Поэтическая техника в “Записках” – один из ликов образа автора.

В сторону междометий

В словаре Поприщина особая роль принадлежит междометиям. Междометия не имеют номинативного значения и служат “для нерасчлененного выражения чувств, ощущений, душевных состояний и других (часто непроизвольных) эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность”.¹⁰⁴ Междометия делятся на первообразные и непервообразные, то есть связанные с разными частями речи, а также являющиеся устойчивыми словосочетаниями (типа *черт побери*). “Записки сумасшедшего” – это очень небольшой текст, и число междометий и их многократных употреблений в нем явно превышено по отношению к некой прототипической норме. Первообразные и непервообразные междометия представляют интерес по разным причинам. Начнем с первообразных междометий. Вот их список с необходимыми минимальными контекстами: *Я, как увидел его, тотчас сказал себе: Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь...;* *Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами.* “Эге! – сказал я сам себе, – да полно, не пьян ли я?; – я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна”. Ах ты ж, собачонка!; *А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах!;* *Если бы и дочка... эх, канальство!;* *платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное!;* “Папа здесь не было?” Ай, ай, ай! какой голос!; *Я вспомнил о той... эх, канальство!;* *починил двадцать три пера и для её, ай! ай!.. превосходительства четыре пера;* *Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев;* У! должен быть голова; *Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиную еще в одну комнату.* Эх, какое богатство; *Посмотреть бы ту скамеечку <...> ай! ай! ай!* ничего, ничего... молчание; *Я увидал, однако же, в углу её лукошко.* Э, вот этого мне и нужно!; Гм! Мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого; “Моя барышня, которую папа называет Софи, любит меня без памяти”. Ай, ай! ничего, ничего. Молчание!; *Ах, ma chère, я должна тебе сказать...;* Я уже тебе кое-что

¹⁰³ Из письма к Н. М. Малышевой. Цит. по: Чудаков А. П. В. В. Виноградов и теория художественной речи начала XX века // Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. С. 311.

¹⁰⁴ Русская грамматика. Том 1. С. 733.

говорила о главном господине, которого Софи называет папа. Это очень странный человек; А! вот наконец!; Гм! Эта собачонка уж слишком... чтобы её не высекли. А! так он честолюбец!; А! Ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!; Что-то длинновато! Гм! И числа не выставлено; “Ах, милая! Как ощутительно приближение весны! <...> Ах, если бы ты знала, какие между ними есть уроды <...> ах, нет... <...> Ах, та chère, какая у него мордочка!; Тьфу, к черту!” ; “Ах, Меджи, Меджи, если бы ты знала... <...> Ах, та chère, о каком вздоре они говорили! <...> О, какая разница!; Ах, та chère, если бы ты знала, какой это урод; что скажет и сам папа, директор наш? О, это большой честолюбец!; О, эта бестия Полиньяк!

Как видим, в распоряжении Поприщина едва ли не вся палитра первообразных междометий: *a, aï, ah, э, эгэ, эх; у, фу, тьфу; о: гм.* Тройной повтор сигнализирует об интенсивности эмоции: *Aй, ай, ай! Какой голос!*; ту же роль выполняет интерпозитивное местоимение, помещенное непосредственно перед названием вызывающего эмоцию объекта: *для её, ай! ай!.. превосходительства.* Междометия позволяют передать множество разных, подчас противоречивых эмоций, которые охватывают Поприщина в связи с разными событиями, воспоминаниями и размышлениями. Здесь необходимо вспомнить, что междометия близки к звукоподражаниям, и эта близость очень тонко используется автором в следующем примере: – я была, *ав! ав!* я была, *ав, ав, ав!* очень больна. *Aх, ты ж, собачонка!* Собачье *ав* как бы переходит в человеческое *ah*, то есть, если можно так выразиться, собачий язык дешифруется через человеческий. Показательно, что местоимение *ah* также использует как Поприщин, так и собачка Меджи. В этой связи можно вспомнить и одну из теорий происхождения языка – из непроизвольных выкриков, передающих волевые и эмоциональные реакции. Все это имеет непосредственное отношение к тому, как соотносятся в сознании Поприщина он сам – и говорящие и пишущие собачки.

Без сомнения, при общей семантике первообразных междометий одни из них ‘более многозначны’, чем другие. На это указал В. В. Виноградов: “Не подлежит сомнению, что гласные фонемы русского языка в разной степени способны выражать эмоции”¹⁰⁵. И дальше В. В. Виноградов очень проницательно описывает различия между первообразными междометиями. Отметив, что “наиболее однообразна эмоциональная окраска звуков *у* и *и*”, В. В. Виноградов следующим образом описывает семантику междометия *у*: “Междометие *у* выражает резкие аффективные состояния восторга, восхищения, крайнего изумления и

¹⁰⁵ Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) М., 1972. С. 590.

ужаса, трепета”.¹⁰⁶ И когда Поприщин записывает *У! должен быть голова*, он, надо полагать, как раз и передает присутствующие в нем одновременно эмоции, вызываемые *его превосходительством*. Восхищение относится, конечно, к ментальным способностям директора департамента, но для читателя и здесь открывается “лазейка”,¹⁰⁷ если воспользоваться термином М. М. Бахтина. В самом деле, восхищение умственными способностями директора следует непосредственно за сообщением о том, что Поприщин “починил для него двадцать четыре пера” и директор любит, “чтобы стояло побольше перьев”. Понятно, что такая аргументация дезавуирует то представление об уме директора, которое имеется у Поприщина. И когда позднее Поприщин выносит своему начальнику приговор (*Какой он директор! Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, большие ничего. Вот которую закупоривают бутылк, Что за директор!* – ср. общязыковое глуп, как пробка), это означает, что вместе с ‘аннигиляцией’ директора происходит освобождение Поприщина от сковывавших его эмоций, в том числе “ужаса и трепета”.

В этом свете интересно посмотреть на междометие *фу*, более или менее однозначно используемое для выражения отвращения, “презрения, неудовольствия”¹⁰⁸. Дело в том, что употребление этого местоимения в “Записках сумасшедшего”, вообще говоря, противоречит его значению. В одном случае речь идет опять-таки о директоре департамента, о его “учености”: *А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах!* Второй пример еще более показателен, ибо связан с Софи: *платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное! А как глянула: солнце, ей богу солнце!* В обоих примерах явным образом выражается позитивная эмоция и позитивная оценка (лексически выражается значение света, сияния). Что же тогда, *фу* – это неточность, неправильный выбор междометия? Однако мы уже говорили, что автор наделяет

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Ср. “слово с лазейкой” в понимании М. М. Бахтина: “Лазейка – это оставление за собой возможности изменить последний, окончательный смысл своего слова. Если слово оставляет такую лазейку, то это неизбежно должно отразиться на его структуре. Этот возможный иной смысл, то есть оставленная лазейка, как тень, сопровождает слово. По своему смыслу слово с лазейкой должно быть последним словом и выдает себя за такое, но на самом деле оно является лишь предпоследним словом и ставит после себя лишь условную, не окончательную точку” (Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 313)

¹⁰⁸ Так определяется значение междометия *фу* в Словаре Академии Российской 1789-1794. Т. 6. С. 496.

Поприщина как персонажа неплохим языковым чутьем. Можно предположить, что *фу* играет роль “семантического предвестника”: ведь после “великого перелома” изменяется отношение Поприщина не только к директору, но и к Софи. Итак, в ближайшем контексте негативная оценка, связанная с *фу*, нейтрализуется на лексическом уровне, а проспективно эта же оценка как бы предсказывает сюжетное изменение.

Из непервообразных особых интерес вызывает распределение по тексту междометий, содержащих слова *Бог* и *черт*. Упоминания о черте (сатане) сконцентрированы, во-первых, в первой части текста (до “великого перелома” и ‘нового летоисчисления’); во-вторых, они относятся в большинстве случаев к “земному миру” – к миру чиновников, вызывающих у Поприщина раздражение и негативную реакцию; в этот мир метонимически (по связи с дочкой директора департамента Софи) включаются и *собачки* – *собачонки*. Сюда же добавляются бранные характеристики чиновников и включение ‘чертовских’ междометий в их речь. Ср.: *Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет* (слова “начальника отделения”); *Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде, – не выдаст, седой черт* (о казначее); *Что это за бестия наши брат чиновник!*; *Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами;* “*Ваше превосходительство, – хотел я было сказать, – не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскую ручкою*”. Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: “*Никак нет-с*”; *Я терпеть не могу лакейского круга <...> один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табачком*; Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно; *Велика важность надворный советник!* вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей – да черт его побери!; Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь; Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать (о письме Меджи); *Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями*; Черт возьми! я не могу более читать; *Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, – срывает у тебя камер-юнкер или генерал*. Черт побери!; *Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, – срывает у тебя камер-юнкер или генерал*. Черт побери!; *В департамент не ходил... Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманить меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!*

Приведенные примеры настолько выразительны, что, в сущности, не требуют дополнительных комментариев. Что касается междометий противоположной группы и связанных с ними лексем, здесь картина более сложная, но общая направленность также прослеживается вполне отчетливо. В первой же записи Поприщина встречаем следующее замечание по поводу казначея: “Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги – *господи боже мой*, да скорее страшный суд придет” (193). Здесь дается характеристика чиновника, но вместе с тем эмоция связана с самим Поприщным, с его материальной нуждой и желанием получить жалованье. И, конечно, не случайно – поскольку речь идет о казначее – упоминание Страшного суда. До “великого перелома” “небесное” – это прежде всего Софи и то чувство, которое испытывает к ней Поприщин: *Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами...* Господи, боже мой! *пропал я, пропал совсем; Святители, как она была одета!*; Святые, какой платок!; Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то я думаю, рай, какого и на небесах нет. Это видение подвергается снижению в реплике собачки Меджи: “Куда ж, – подумала я сама в себе, – если сравнить камер-юнкера с Трезором!”. Небо! Какая разница! “Изгнание из рая” сопровождается перемещением женщины-искусительницы в мир дьявола и “отпадением” от Бога вместе со всем чиновничим миром:

Женщина влюблена в черта. Да, не шутя <...> она любит только одного черта <...> Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиной. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все чиновные отцы их <...> Мать, отца, бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродацы! (209).

Что касается самого Поприщина, отмечаем следующие употребления: *Погоди, приятель! Будем и мы полковником, и, может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше;* “Послушай, Меджи, вот мы теперь одни, расскажи мне все, что знаешь про барышню, что она и как. Я тебе побожусь, что никому не открою”; *Нет, я больше не имею сил терпеть.* Боже, что они делают со мною! Два первых употребления относятся ко времени “до перелома” и при этом раскрывают Поприщина как человека искренне верующего. Последнее – и единственное во второй части – обращение к Богу относится к крестным мукам Поприщина.

“Записки сумасшедшего”: Значение и смысл

Подводя итоги своему исследованию, о котором было сказано в начале статьи, М. Кёненён ставит вопрос о “дневнике на службе сумасшедшего”

вия”. По мысли М. Кёненён, структурные черты дневника позволили Гоголю и “спародировать дневниковую форму”, и “с помощью помешанного повествователя он мог представить патологический процесс, описанный изнутри, который стал популярным только в конце XIX века, когда и в литературе появились концепции ‘раздвоенной’ и ‘множественной’ личности”.¹⁰⁹ Действительно, буквальное значение гоголевского текста – психическое заболевание Поприщина. Мы стремились показать, что расщепленность и двойственность буквально пронизывает гоголевский текст. Это относится к названию, к соотношению персонажа и рассказчиков, включению других голосов, интертекстуальных врезок, фигуре эквиока, взаимодействию письменного и устного дискурса. Сам текст, как уже было сказано, может рассматриваться как иконический знак расщепленного сознания. Это то, что можно назвать значением данного текста.

Но дальше хочется спросить: и это все? Этим исчерпывается послание Гоголя? Отсюда ли проистекает то огромное, не подверженное времени эмоциональное воздействие, которое продолжают оказывать “Записки сумасшедшего”? “И разве, действительно, весь смысл пушкинской сказки ‘О рыбаке и рыбке’ заключается в том, что там буквально говорится о рыбке? – писал Г. О. Винокур. – Но тогда это было бы не произведение искусства, а хроникерское известие, летопись, историческая справка”¹¹⁰. И почти теми же словами – о “Евгении Онегине”: “действительный смысл художественного слова никогда не замыкается в его буквальном смысле. Любой поступок Татьяны и Онегина есть сразу и то, что он есть с точки зрения его буквального обозначения, и то, что он представляет собой в более широком его содержании, скрытом в его буквальном значении <...>. Таким образом формой здесь служит содержание”¹¹¹. Итак, можно предположить, что, содержание “Записок сумасшедшего” является формой выражения какого-то иного смысла. Каков же этот смысл?

Обращают на себя внимание следующие факты: а) введение нового летоисчисления: за *Декабря 8* следует *Год 2000 апреля 43* числа. Оно мотивировано сумасшествием Поприщина и является его наглядным доказательством. Одновременно оно имеет мифологические и религиозные коннотации; б) текстовое распределение включенных в ме-

¹⁰⁹ Кёненён М. “Записки сумасшедшего” Н.В. Гоголя и европейский литературный дневник. С. 158.

¹¹⁰ Винокур Г. О. Об изучении языка литературных произведений // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. С. 246.

¹¹¹ Винокур Г. О. Понятие поэтического языка // Там же. С. 390.

ждометия упоминаний о Боге и черте. Этот признак является особенно показательным, ибо он никак не связан с болезнью Поприщина, и употребление междометий могло бы быть абсолютно произвольным. Между тем время до “великого перелома” отмечено присутствием черта, а после него – обращением к Богу. Выделим специально маркировку записей в преддверии воображаемого переезда в Испанию: *Между днем и ночью; Никоторого числа. День был без числа; Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое.*

В мифологической традиции переход от старого года к новому – это разрыв времени (“время останавливается”), кажущаяся неотвратимой победа хаоса, распад и смерть, за которыми, однако, должны последовать новая жизнь и воскрешение; в) записи после “великого перелома” могут быть прочитаны сквозь призму евангельского текста. Показательны следующие (далеко не все) возможные сопоставления: *канцлер ударил меня два раза палкою; – И плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове* (от Матф., 27, 30); *Боже! Что они делают со мною?* <...> *За что они мучат меня? – Отче! О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня* (Матф., 26, 39); *Они не внимают, не видят, не слушают меня – Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их!* (Матф., 13, 15).

Исцеляется ли Поприщин? В нравственном смысле – безусловно. Сумасшествие Поприщина имеет буквальный и метафорический смысл. Это путь, по которому он должен пройти Поприщин, чтобы стать человеком. В последней ламентации Поприщина звучит именно этот голос – не чиновника, не испанского короля, но просто человека, страдания которого вызывают *со-страдание*. И неслучайно именно здесь максимально близкими становятся автор повести Гоголь и его герой. Они мыслят одинаковыми образами, у них одинаковые чувства и привязанности. *Матушка! Пожалей о своем больном дитяtkе!*.. В последней записи появляется не только Россия, но и Италия. И мы вспоминаем скульптуру Микеланджело в соборе св. Петра в Риме: Pietà.